

**БОР. ПИЛЬНЯК**

# **КРАСНОЕ ДЕРЕВО**

---

**П Е Т Р О П О Л И С**





*БОР. ПИЛЬНЯК*

# КРАСНОЕ ДЕРЕВО

---

---

„ПЕТРОПОЛИС“ / БЕРЛИН

**Reprint by  
ARDIS PUBLISHERS  
2901 Heatherway  
Ann Arbor, Michigan  
48104 USA**

# КРАСНОЕ ДЕРЕВО



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нищие, провидоши, побироши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, юродивые — эти однозначные имена кренделей быта святой Руси, нищие на святой Руси, калики перехожие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа Руси святой, — эти крендели украшали быт со дней возникновения Руси, от первых царей Иванов, быт русского тысячелетия. О блаженных мокали свои перья все русские историки, этнографы и писатели. Эти сумасшедшие или жулики — побироши, пустосвяты, пророки — считались красою церковною, христовою братиею, мольцами за мир, как называли их в классической русской истории и литературе.

Известный московский юродивый, живший в Москве в середине девятнадцатого века, недоучившийся студент духовной академии, Иван Яковлевич — умер в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. Поэт писал в «Ведомостях».



«Какое торжество готовит Желтый Дом?  
Зачем текут туда народа волны  
В телегах и в ландо, на дрожках и пешком,  
И все сердца тревогой мрачной полны?  
И слышится меж них порою смутный глас,  
Исполненный сердечной, тяжелой боли:  
— «Иван Яковлевич безвременно угас!  
Угас пророк, достойный лучшей доли!»

Бытописатель Скавронский в «Очерках Москвы» рассказывает, что в продолжение пяти дней, пока труп не был похоронен, около трупа было отслужено более двухсот панихид. Многие ночевали около церкви. Н. Барков, автор исследования под названием — «26 Московских лже-пророков, лже-юродивых, дураков и дур», очевидец похорон, рассказывает, что предложено было хоронить Ивана Яковлевича в воскресенье, «как и объявлено было в «Полицейских Ведомостях», и в этот день, чем свет, стали стекаться почитатели, но погребение не состоялось по возникшим спорам, где именно его хоронить. Чуть не дошло до драки, а брань уже была, и порядочная. Одни хотели взять его в Смоленск, на место его родины, другие хлопотали, чтоб он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила под церковью, третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь, а четвертые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово». — «Опасались, чтобы не

краси тела Ивана Яковлевича». — Историк пишет: «Во все это время шли дожди и была страшная грязь, но, не смотря на то, во время перенесения тела из квартиры в часовню, из часовни в церковь, из церкви на кладбище, женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом». — Иван Яковлевич — при жизни — испражнялся под себя, — «из под него текло (как пишет историк) и сторожам велено было посыпать пол песком. Этот то песок, подмоченный из под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке полложечки песочку, и ребенок выздоровел. Вату, которой были заткнуты в покойника нос и уши, после отпевания делили на мелкие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили ко гробу с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба ввиду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, разорвали на кусочки. — Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, странницы. В церковь они не входили, за теснотой, и стояли на улицах. И тут-то среди бела дня, среди собравшихся, делались народу поучения, совершались явления и видения, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыкания». — Иван Яковлевич последние годы своей жизни приказывал поклонникам своим пить воду, в которой он умывался: пили. Иван Яковлевич

не только устные делал прорицания, но и письменные, которые сохранены для исторических исследований. Ему писали, спрашивали: «— женится ли такой-то?» — он отвечал: — «Без пращи не бенды кололаци»...

Китай-город в Москве был тем сыром, где жили черви юродов. Одни писали стихи, другие пели петухами, павлинами и снигирями, третьи крыли всех матом во имя господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам имена, — например, — «жизнь человека сказка, гроб — коляска, ехать — не тряско!» — Имелись аматеры собачьего лая, лаем прорицавшие божьи веления. Были в этом сословии нищих, побирош, провидош, волочечников, лазарей, пустосвятов—убогих всея святой Руси — были и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы, — дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были пьяны. Всех их покрывало луковицеобразное голубое покойствие азиатского российского царства, их, горьких, как сыр и лук, ибо луковицы на церквах, конечно, есть символ луковой русской жизни.

...И есть в Москве, в Петербурге, в иных больших российских городах — иные чудачки. Родословная их — имперская, а не царская. С Елизаветы возникло, начатое Петром, искусство — русской мебели. У этого крепостного искусства нет писанной истории, и имена мастеров уничтожены

временем. Это искусство было делом одиночек, подвалов в городах, задних каморок в людской избе в усадьбах. Это искусство существовало в горькой водке и в жестокости. Жакоб и Буль стали учителями. Крепостные подростки посылались в Москву и Санкт-Петербург, в Париж, в Вену, — там они учились мастерству. Затем они возвращались — из Парижа в Санкт-петербургские подвалы, из Санкт-Петербурга в залюдские каморки, — и — творили. Десятками лет иной мастер делал один какой-нибудь самосон или туалет, или бюрцо, или книжный шкаф, — работал, пил и умирал, оставив свое искусство племяннику, ибо детей мастеру не полагалось, и племянник или копировал искусство дяди, или продолжал его. Мастер умирал, а вещи жили столетьем в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосомах умирали, в потайные ящики секретеров прятали тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета — Екатерина — рококо, барокко — бронза, завитушки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец; у Павла солдатские линии, строгий покой, красное дерево темно заполнено, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, Эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием своего брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. В 1861-ом году пало крепостное право. Кре-

постных мастеров заменили мебельные фабрики — Левинсон, Тонэт, венская мебель. Но племянники мастеров — через водку остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину, но они оставили все навыки и традиции своих дядей. Они одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы, и они любят его, как поэты. Они по-прежнему живут в подвалах. Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику, его не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая первого. Он — антиквар, он — реставратор. Он найдет на чердаке московского дома или в сарае несожженной усадьбы, — стол, трельяж, диван — екатеринские, павловские, александровские — и он будет месяцами копать над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, — чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он будет любить эту вещь. Чего доброго, он найдет в секретном ящике бюроца пожелтевшую связку писем. Он — реставратор, он глядит назад, во время вещей. Он обязательно чудак, — и он по чудачески продаст реставрированную вещь такому-же чудаку-собирателю, с которым — при сделке он выпьет коньяку, перелитого из бутылки в екатерининский штоф и из рюмки — бывшего императорского — алмазного сервиза.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

1928 год.

Город — русский Брюгге и российская Камакура. Триста лет тому назад в этом городе убили последнего царевича династии Рюрика, в день убийства с царевичем играли боярские дети Тучковы, — и тучковский род жив в городе по сие время, как и монастыри и многие другие роды, менее знатного происхождения... — Российские древности, российская провинция, верхний плес Волги, леса, болота, деревни, монастыри, помещичьи усадьбы, — цепь городов — Тверь, Углич, Ярославль, Ростов Великий. Город — монастырский Брюгге российских уделов и переулков в целебной ромашке, каменных памятников убийств и столетий. Двести верст от Москвы, а железная дорога — в пятидесяти верстах.

Здесь застряли развалины усадеб и красного дерева. Заведующий музеем старины здесь ходит в цилиндре, размахайке, в клетчатых брюках, и отпустил себе бакенбарды, как Пушкин, — в кар-

манах его размахайки хранятся ключи от музея и монастырей, — чай пьет он в трактире, водку в одиночестве — в чуланной комнате, в доме у него свалены библии, иконы, архимандритские клобуки и митры, стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния — тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков, — в кабинете у него каразинское красное дерево, на письменном столе пепельница — дворянская фуражка с красным околышем и белой тульей.

Барин Каразин, Вячеслав Павлович, служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за двадцать за пять до революции из-за своей честности, ибо проворовался его коллега, его послали на расследование, он рапортовал начальству истину, начальство покрыло вора, — барин Каразин не снес этого, подал второй рапорт — об увольнении, — и поселился в усадьбе, приезжая оттуда раз в неделю в уездный свой город за покупками, ехал в колымажной карете с двумя лакеями, указывал белой перчаткой приказчику в лавке, чтобы завернули ему полфунта зернистой, три четверти балыка, штуку севрюжки, — один лакей расплачивался, другой лакей принимал вещи; однажды купец потянулся было к барину с рукою, барин руки не подал, аргументировав неподачу руки кратким словом, — «обойдется!» — Ходил барин Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели; революция выселила его из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку; в оче-

редях барин стоял, в дворянской фуражке, имея перед собою вместо лакеев жену.

Существовал барин Каразин распродажей старинных вещей; по этим делам заходил он к музееведу; у музееведа видел он вещи, отобранные у него из усадьбы волей революции, смотрел на них пренебрежительно, — но увидел однажды на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки.

— Уберите, — сказал он коротко.

— Почему? — спросил музеевед.

— Фуражка русского дворянина не может быть плевательницей, — ответил барин Каразин.

Знатоки старины поспорили. Барин Каразин ушел с гневом. Больше он не переступал порога музееведа. — В городе проживал шорник, который благодарно помнил, как барин Каразин, когда шорник был малолетним и проживал у барина в услужении казачком, — как выбил барин ему одним ударом левой руки за нерасторопность семь зубов.

В городе стыла дремучая тишина, взывая от тоски дважды в сутки парходными гудками, да перезванивая древностями церковных звонниц: — до 1928-го года. — ибо в 1928-ом году со многих церквей колокола снимали для треста Рудметаллторг. Блоками, бревнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонниц, повисали над землей, тогда их бросали вниз. И пока ползли колокола на кана-



тах, они пели дремучим плачем, — и этот плач стоял над дремучестями города. Падали колокола с ревом и ухом, и уходили в землю при падении аршина на два.

В дни действия этой повести город стонал именно этими колоколами древностей.

Самая нужная в городе была — профсоюзная книжка; в лавках было две очереди — профкнижников и не имеющих их; лодки на Волге на прокат были для профкнижников — гривенник, для иных прочих — сорок копеек в час; билеты в кино для иных — двадцать пять, сорок и шестьдесят копеек, профкнижникам — пять, десять и пятнадцать. Профкнижка, где она была, лежала на первом месте, рядом с хлебной карточкой, при чем хлебные карточки, а, стало-быть, и хлеб, выдавались только имеющим выборный голос, по четыреста грамм в сутки, — не имеющим же голоса и детям их — хлеб не давался. Кино помещалось в профсаду, в утепленном сарае, — и звонков в кино не полагалось, а сигнализировали с электростанции — всему городу сразу: первый сигнал — надо кончать чай пить, второй — одеваться и выходить на улицу. Электростанция работала до часу, — но в дни именин, октябрин и прочих неожиданных торжеств у председателя исполкома, у председателя промкомбината, у прочего начальства — электричество запаздывало потухать иной раз на всю ночь, — и остальное население приноравливало тогда свои торжества к этим ночам. В кино же

однажды уполномоченный внуторга, не-то Сац, не-то Кац, в совершенно трезвом состоянии, толкнул случайно по неловкости жену председателя исполкома, — та молвила ему, полна презрения: — «Я — Куварзина», — уполномоченный Сац, будучи не осведомлен в силе сей фамилии, извинился удивленно, — и был впоследствии за свое удивление похерен из уезда. Начальство в городе жило скученно, остерегаясь, в природной подозрительности, прочего населения, заменяло общественность склочками и переизбирало каждый год само себя с одного уездного руководящего поста на другой в зависимости от группировок склочащих личностей по принципу тришкина кафтана. По тому же принципу тришкина кафтана комбинировалось и хозяйство. Хозяйствовал комбинат (комбинат возник в году, когда Иван Ожогов — герой повести — ушел в охломоны). Членами правления комбината были — председатель исполкома (муж жены) Куварзин и уполномоченный рабкрина Преснухин, председательствовал — Недосугов. Хозяйничали медленным раззорением дореволюционных богатств, головоотяпством и любовно. Маслобойный завод работал — в убыток, лесопильный — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибылей, и без амортизационного счета. Зимой по снегу, сорока-пятью лошадьми, половиной уездного населения таскали верст пятьдесят расстояния — новый котел на этот кожевенный завод, — притащили и бросили

— за неподходящестью, списав стоимость его в счет прибылей и убытков; покупали корьедро-билку — и тоже бросили — за негодностью, списав в счет прибылей и убытков; покупали тогда на предмет дробления корья соломорезку — и бросили, ибо корье не солома, — списывали. Улучшали рабочий быт, жил-строительством; купили двухэтажный деревянный дом, перевезли его на завод и — распилили на дрова, напилили пять кубов, ибо дом оказался гнил, — годных бревен оказалось — тринадцать штук; к этим тринадцати прибавили девять тысяч рублей — и дом построили: как раз к тому времени, когда завод закрылся ввиду его, хотя и неубыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности, — новый дом остался порожнем. Убытки свои комбинат покрывал распродажею оборудования бездействующих с дореволюции предприятий, — а так-же такими комбинациями: — Куварзин - председатель продал леса Куварзину - члену по твердым ценам со скидкой в 50% — за 25 тысяч рублей, — Куварзин - член продал этот-же самый лес населению и Куварзину-председателю, в частности, — по твердым ценам без скидки — за пятьдесят слишком тысяч рублей. — К 1927-ому году правление пожелало почтить на лаврах: дарили Куварзину портфель, деньги на портфель взяли из подотчетных сумм, а затем бегали с подписным листом по туземцам, чтобы вернуть деньги в кассу. Ввиду замкнутости своих интересов и жизни. протекаю-

щей тайно от остального населения, никакого интереса для повести начальство не представляет. Алкоголь в городе продавался только двух видов — водка и церковное вино, других не было, водки потреблялось много, и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много — на христову кровь и теплоту. Папиросы в городе продавались — «Пушка» одиннадцать копеек пачка; и «Бокс», четырнадцать копеек, иных не было. Как за водкой, так и за папиросами очереди были — профессиональная и не профессиональная. Дважды в сутки проходили пароходы, там в буфете можно было купить папиросы «Сафо», портвейн и рябиновку, — и курители «Сафо» были явными растратчиками, ибо частной торговли в городе не было, а бюджеты на «Сафо» не рассчитывались. Жил город в расчете стать заштатным, огородами и взаимопомощью обслуживая друг друга.

У Скудрина моста стоял дом Скудрина и в доме проживал Яков Карпович Скудрин, ходок по крестьянским делам, человек восьмидесяти пяти лет, — кроме Якова Карповича Скудрина проживали в городе в отдельности от Якова Карповича много младшие его две сестры, Капитолина и Римма, и брат охломон Иван, переименовавший себя в Ожогова, — речь о них ниже.

Лет сорок последних, страдал Яков Карпович грыжей и, когда ходил, поддерживал через прохеху у штанов правую свою рукою эту свою гры-

жу, — руки его были пухлы и зелены, — хлеб солил он из общей солонки густо, похрустывая солью, бережливо остатки соли ссыпая обратно в солонку. Последние тридцать лет Яков Карпович разучился нормально спать, просыпался ночами и бодрствовал тогда за библией до рассветов, а затем спал до полдней, — но в полдни он всегда уходил в читальню, читать газеты: газет в городе не продавали, на подписку не хватало денег, — газеты читались в читальнях. Яков Карпович был толст, совершенно сед и лыс, глаза его слезились, и он долго хрипел и сопел, пока приготавливался заговорить. Дом Скудриных некогда принадлежал помещику Верейскому, раззорившемуся вслед отмене крепостного права в выборной должности мирового судьи: Яков Карпович, отслужив дореформенную солдатчину, служил у Верейского писарем, обучился судейскому крюкоделству и перекупил у него дом вместе с должностью, когда тот раззорился. Дом стоял в неприкосновенности от Екатерининских времен, за полтора столетия своего существования потемнел, как его красное дерево, позеленев стеклами. Яков Карпович помнил крепостное право. Старик все помнил — от барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь; за последние пятьдесят лет он помнил все имена отчества и фамилии всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИК'е, всех министров иностранных дел великих держав, всех

премьеров, королей, императоров и пап. Старик потерял счет годам и говорил:

— Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Владимира Ильича, — переживу и Алексея Ивановича!

У старика была очень паршивая улыбочка, раболепная и ехидная одновременно, белесые глаза его слезились, когда он улыбался. Старик был крут, как круты в него были его сыновья. Старший сын Александр, задолго еще до 1905-го года, будучи посланным со срочным письмом на пароходную конторку, опоздав к пароходу, получил от отца пощечину под слова: — «пошел вон, негодяй!» — эта пощечина была последнею каплей меда, — мальчику было четырнадцать лет, — мальчик повернулся, вышел из дома — и пришел домой — только через шесть лет, студентом Академии Художеств. Отец за эти годы посылал сыну письмо, где приказывал сыну вернуться и обещал лишить сына родительского благословения, прокляв навсегда: на этом же самом письме, чуть пониже подписи отца, сын приписал: «А чорт с ним, с вашим благословением», — и вернул отцу отцовское письмо. Когда Александр—через шесть лет после ухода, солнечным весенним днем — вошел в гостиную, отец пошел к нему навстречу с радостной улыбочкой и с поднятой рукой, чтобы побить сына: сын с веселой усмешкой взял своими руками отца за запястья, еще раз улыбнулся, в улыбке весело све-

тилась сила, руки отца были в клещах, — сын посадил отца, чуть надавив на запястья, к столу, в кресло, и сын сказал:

— Здравствуйте, папаша, — зачем же, папаша, беспокоиться? — присядьте папаша!

Отец захрипел, захихикал, засопел, по лицу прошла злая доброта, — старик крикнул жене:

— Марьюшка, да, хи-хи, водочки, водочки нам принеси, голубушка, холодненькой с погреба, с холодненькой закусочкой, — вырос, сынок, вырос, — приехал сынок на наше горе, ссукин сын!

Сыновья его пошли: художник, священник, балетный актер, врач, инженер. Младших два брата стали в старшего—художника и в отца, двое младших ушли из дома, как старший, и самый младший стал коммунистом, инженер Аким Яковлевич, — и он никогда не возвращался к отцу, и, наезжая в родной свой город, жил у теток Капитолины и Риммы. К 1928-ому году старшие внуки Якова Карповича были женаты, но младшей дочери было двадцать лет. Дочь была единственной, и ей образования никакого не давалось, в громе революции.

В доме жили — старик, его жена Мария Климовна и дочь Катерина. Половина дома и мезонин не отапливались зимами. Дом жил так, как люди жили — задолго до Екатерины, даже до Петра, пусть дом безмолвствовал екатерининским красным деревом. Старики существовали огородом. От индустрии в доме были — спички, керосин и

соль, только: спичками, керосином и солью распоряжался отец. Мария Климовна, Катерина и старик с весны по осень трудились над капустами, свеклами, репами, огурцами, морковьями и над соловодским корнем, который шел вместо сахара. Летом в рассветах можно было встретить старика— в ночном белье, босого, с правою рукою в прорехе, с хворостиною в левой руке — за околицами в росе и тумане, пасущего коров. Зимой старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал, — в иные часы мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню читать газеты, впитывал в себя имена и новости коммунистической революции. — Катерина тогда садилась за клавишны и разучивала духовные песнопения Костальского, она пела в церковном хоре. Старик приходил домой к сумеркам, ел и ложился спать. Дом проваливался в шепот женщин и во мрак. Катерина уходила тогда на спевки в собор. Отец просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и вникал в Библию, читал вслух наизусть. Часов в шесть старик засыпал вновь. Старик потерял время, перестав бояться смерти, разучившись бояться жизни. Мать и дочь молчали при старике. Мать варила каши и щи, пекла пироги, топила и квасила молоко, стряпала холодцы (и бабки прятала для внучат), — то есть существовала так, как было у россиян и в пятнадцатом, и в семнадцатом веке, и пищу готовила так же пятнадцатого и семнадцатого веков. Мария Климовна, сухая старушка, она была чудесной



женщиной, тем типом женщин, которые хранятся в России по всеям вместе со старинными иконами богоматерей. Жестокая воля мужа, который пятьдесят лет тому назад, на другой день после венчания, когда она надела бархатную, малинового цвета душегрейку, спросил ее: — «это к чему?» (—она тогда не поняла вопроса) — «это к чему?» — переспросил муж, — «сними! — я тебя и без нарядов знаю, а другим заглядываться нечего!» — наслюнявив тогда большой палец, больно муж показал жене, как надо зачесывать ей виски, — жестокая воля мужа, заставившая убрать в сундук навсегда бархатную душегрею, пославшая жену на кухню, — сломала ли она волю жены — или закалила ее подчинением? — жена навсегда была беспрекословной, достойна, молчалива, печальна, — и никогда не была криводушной. Ее мир не выходил из-за калитки, — и один путь был за калитки — в церковь, как могила. Она пела с дочерью псалмы Костальского, ей было шестьдесят девять лет. В доме стыла допетровская русь. Старик по ночам наизусть читал библию, перестав бояться жизни. Очень редко, через месяцы, в безмолвные часы ночей старик шел к постели жены, — он шептал тогда:

— Марьюшка, да, — кхэ, гм!.. да, кхэ, Марьюшка, это жизнь, Марьюшка!

В его руках была свеча, его глаза слезились и смеялись, руки его дрожали.

— Марьюшка, кхэ, вот я, да, — это жизнь, Марьюшка, кхэ!

Мария Климовна крестилась.

— Постыдитесь, Яков Карпович!..

Яков Карпович тушил свет.

У дочери Катерины были желтые маленькие глазки, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около разбухших ее век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги ее были, как бревна, грудь была велика, как вымя у швейцарских коров.

...Город — русский Брюгге и русская Камакура.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...Москва гроыхала грузовиками дел, начинаний, свершений. Автомобили мчались вместе с домами — в пространства и ввысь. Плакаты кричали горьковским ГИЗ'ом, кино и съездами. Шумы трамваев, автобусов и такси утверждали столицу вдоль и поперек.

Поезд уходил из Москвы в ночь черную, как сажа. Лихорадка московских зарев и громов погибала и погибла очень быстро. Поля легли черной тишиной, и тишина вселилась в вагон. В двухместном купэ мягкого вагона сидели двое — два брата Бездетовы, Павел Федорович и Степан Федорович, • краснодеревщики-реставраторы. Оба они имели вид непонятный, одеты были, как одевались купцы при Островском, в сюртуках, но в бекешах, — лица-ж у них, хоть и бритые, хранили ярославскую славянскость, — глаза у обоих были пусты и умны. Поезд уволакивал время в черные пространства полей. В вагоне пахло дубленой кожей и коноплей. Павел Федорович достал из чемодана бу-

тыль коньяку и серебряный стаканчик, — налил, выпил, — налил, молча передал брату. Брат выпил и вернул стаканчик. Павел Федорович убрал бутылку и стаканчик в чемодан.

— Бисер братъ будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

Прошло пол-часа в молчании. Поезд волочил время, останавливая его станциями. Павел достал бутылку и стакан, выпил, налил брату, убрал.

— Девушек угостим? Фарфор братъ будем? — спросил Степан Федорович.

— Обязательно, — ответил Павел Федорович.

И еще через пол-часа молчания братья выпили по стаканчику.

— Так называемые русские гобелены братъ будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

В полночь поезд пришел к Волге, к селу, славному по всей России кустарным сапожным производством. Кожей пахло все крепче и крепче. Павел налил по последнему стаканчику.

— Позднее Александра братъ не будем? — спросил Степан.

— Невозможно, — ответил Павел Федорович.

На станции горами свалены были российские сапоги — не философия, но конкретное утверждение русских дорог. Кустарничество пахло дегтем. Мрак был густ, как деготь, которым пахнул. По станции бегали сапожники. Все кругом за станцией проваливалось в грязь. Павел Федорович

молчаливо за сорок копеек нанял телегу к паровой конторке. Извозчики ругались в темноте, как сапожники. От просторных мраков Волги повалило сыростью. Заволжье горело электрическими огнями сапожничества. В буфете на пароходе пьянствовала компания евреев-перекупщиков, руководила компанией, разливала водку молодая женщина в мантию из обезьяньего меха, — компания ушла после третьего свистка. Пароход притушил огни. Ветер стал шарить волжские пространства, сырость полезла в каюты. Бабища-буфетчица накрывая Бездетовым накрывала постели на столах в буфете, говорила о своем любовнике, который украл у нее сто двадцать два рубля. Пароход уносил в себе запахи сапожной кожи. Палубные пассажиры пели от холода разбойничьи песни. В серой мрази утра предстали пейзажи — не четырнадцатого, а любого доисторического века, — нетронутые человеком берега, сосны, ели, березы, валуны, глина, вода, — четырнадцатый век по европейскому летоисчислению представлял плотами, парами, деревнями. К полдням пароход пришел в семнадцато-осемнадцатый век русского Брюгге, — город спустился к Волге церквами, кремлем и развалинами пожарища 1920-го года (тогда, в двадцатом, здесь сгорела добрая и центральная половина города. Занялся тогда пожар в уподкоме, — надо было бы тушить пожар, — но стали ловить буржуев и сажать их в тюрьму заложниками, — буржуев ловили три дня, ровно столько,

сколько горел город, и перестали ловить, когда пожар отгорел без вмешательства пожарных труб и населения). — В тот час, когда антиквары сошли с парохода, над городом летали обалделые стаи галок и ныл город необыкновенным стоном стаскиваемых с колоколен колоколов. Собирался над городом покапать дождь.

Павел Федорович — молчаливо — нанял тарантас к Скудрину мосту — к Якову Карповичу Скудрину. Извозчик затарахтел по целебным ромашкам мостовых старины, рассказал о колокольной городской новости, объяснил, что у многих в городе нервное произошло расстройство из-за ожидания падения колоколов и грома падения, как бывает у неопытных стрелков, у которых жмурятся глаза из-за ожидания выстрела. Якова Карповича Бездетовы встретили на дворе, старик рубил сучья для печки. Мария Климовна выкидывала из коровника навоз. Яков Карпович не сразу узнал Бездетовых, — узнав, обрадовался, — заулыбался, закричал, засопел, — произнес:

— Ааа, покупатели!.. А я для вас теорию пролетарьята придумал!

Мария Климовна поклонилась гостям в пояс, руки убрал под передник, — пропела приветливо:

— Гости дорогие, добро пожаловать, гости многожданные!

Катерина в подоткнутой до ляжек юбке, измазанная землей, опрометью пробежала в дом — переодеваться. Над крышами домов, шарахнув во-

роньи стай, проревел падающий колокол, Мария Климовна перекрестилась, — бабахнуло колоколом громче, чем из пушки, зазвенели стекла в окнах на двор, — нервы, действительно, можно было портить.

Все вошли в дом. Мария Климовна прошла к ухватам, у ее ног зашел самовар. Катерина вышла к гостям барышней, сделала книксен. Старик скинул валенки, ходил вокруг гостей босяком, и голубком ворковал. Антиквары помылись с дороги и сели к столу рядом, молча. Глаза гостей были пусты, как у мертвецов. Мария Климовна справлялась о здоровьи и расставляла по столу кушанья семнадцатого века. Гости поставили на стол бутылку коньяку. Говорил за столом один Яков Карпович, хихикал и хмыкал, сообщал куда надо пойти за стариной, где он ее приметил для братьев Бездетовых.

Павел Федорович спрашивал:

— А вы так и будете крепиться? — не продаете?

Старик заерзал и захихикал, плаксиво ответил:

— Да, да, мол. Не могу, нет, не могу. Мое при мне, мне самому пригодится, проживем — увидим, да, кхэ... Я вам лучше теорию... Я еще вас переживу!

После обеда гости легли спать, — притворили скрипучие двери, улеглись на перины и безмолвно пили коньяк из старинного серебра. К вечеру гости упились. Весь день Катерина пела духовные

песнопения. Яков Карпович бродил около дверей к гостям, поджидая когда гости выйдут или заговорят, — чтобы зайти к ним побеседовать. День был унесен воронами, весь закат очень полошились вороны, разворовывая день. Сумерки развозились водовозными бочками. Глаза у гостей, когда они вышли к чаю, были совершенно мертвы, обалдело-немигающие. Гости сели к столу безмолвно и рядом. Яков Карпович примостился сзади них, чтобы быть ближе к их ушам. Гости пили чай с блюдечек, подливая чай в коньяк, расстегнув свои сюртуки. Екатерининский торшер чадил около стола. Обеденный стол был круглый, красного дерева.

Яков Карпович говорил захлебываясь, спеша высказаться:

— А я вам мысль приготовил, кхэ мысль... Теория Маркса о пролетарьяте скоро должна быть забыта, потому-что сам пролетарьят должен исчезнуть, — вот, какая моя мысль!.. — а стало-быть, и вся революция ни-к-чему, ошибка, кхэ, истории. В силу того, да, что еще два-три поколения и пролетарьят исчезнет — в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию в эпоху расцвета мышечного труда. Теперь машинный труд заменяет мышцы. Вот какая моя мысль. Скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетарьят исчезнет, пролетарьят превратится в одних инженеров. Вот, кхэ, какая моя мысль. А инженер — не пролетарий,



потому-что, чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее со всеми матерьяльно жить одинаково, уровнять матерьяльные блага, чтобы освободить мысль, да, — вон, англичане, богатые и бедные, одинаково в пиджаках спят и в одинаковых домах живут, в трехэтажных, а у нас — бывало — сравните купца с мужиком, — купец, как поп, выражается и живет в хоромах. А я могу босиком ходить, и от этого хуже не стану. Вы скажете, кхэ, да, эксплуатация останется? — да как она останется? — мужика, которого можно эксплуатировать, потому-что он, как зверь, — его к машине не пустишь, он ее сломает, а она стоит миллионы. Машина дороже того стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить, — человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен — и вместо прежней сотни всего один. Человека такого будут холить. Пропадет пролетарьят!..

Гости пили чай и слушали немигающими глазами. Яков Карпович хрюкал, харкал и торопился, — но развить мысли своей окончательно не успел: пришел Иван Карпович, брат, — охломон, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова. Он, аккуратненько одетый в отчаянное тряпье, аккуратненько подстриженный, в галошах на босу ногу, — он почтительно всем поклонился и сел в сторону, в молчании. Поклону его никто не ответил. Лицо его было сумасшедшее. Яков Карпович заерзал и заволновался.

Мария Климовна сказала сокрушенно:

— И зачем только вы пришли, братец?

Охломон ответил:

— Посмотреть виды контр-революции, сестрица.

— Какая-ж тут контр-революция братец?

— Что касается вас, сестрица, то вы контр-революция бытовая, — тихо и сумасшедше заговорил охломон Ожогов. — Но вы от меня плакали, — значит в вас есть зачатки коммунизма. Братец же Яков ни разу не плакал, и очень я раскаиваюсь, что не приставил я его в мое время к стенке, не расстрелял.

Мария Климовна вздохнула, покачала головой, молвила:

— Сынок-то твой как?

— Сынок мой, — ответил гордо охломон, — мой сын кончает вуз и меня не забывает, ходит в мое государство, когда бывает на каникулах, греется у печки, я ему революционные стихи сочиняю.

— А супруга?

— С ней я не встречаюсь. Она женотделом заведует. Знаете, сколько у нас заведующих приходится на двоих производственных рабочих?

— Нет.

— Семь человек. У семи няnek дитя без глазу. — А гости ваши? — контр-революция историческая.

Гости пили чай оловянными глазами. Яков Карпович наливался лиловою злобой, стал походить на свеклу. Он пошел на брата, захихикал в

вежливости, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно в морозе.

— Знаете, братец, — заговорил, засипел Яков Карпович, очень вежливо, — убирайтесь отсюда к чортовой матери. Я вас чистосердечно прошу!..

— Извиняюсь, братец Яков, — я не к вам пришел, — я пришел историческую контр-революцию посмотреть и с ней побеседовать, — ответил Иван.

— А я прошу — убирайтесь к чортовой матери!

— А я не пойду к ней!

Павел Федорович Бездетов медленно глянул оловом левого своего глаза на брата и сказал:

— Разговаривать с юрдами мы не можем, — не уйдешь, велю Степану тебя выгнать в шею.

Степан мигнул так же, как брат, и поправился на стуле. Мария Климовна подперла щеки и вздохнула. Охломон сидел молча. Степан Федорович нехотя встал из-за стола, пошел к охломону. Охломон трусливо приподнялся и попятился к двери. Мария Климовна еще раз вздохнула. Яков Карпович хихикал. Степан остановился посреди комнаты, — охломон остановился у двери, гримасничая. Степан шагнул к охломону, — охломон ушел за дверь. Из-за двери он сказал просительно:

— Дайте в таком случае рубль двадцать пять копеек на водку.

Степан глянул на Павла, Павел произнес:

— Отпусти на пол-бутылки.

Охломон ушел. Мария Климовна выходила за калитку проводить его, сунула ему кусок пирога.

Ночь за калиткой была черной и неподвижной. Охломон Ожогов шел темными переулками к Волге, мимо монастырей, пустырями, ему одному известными тропками. Ночь была очень черна. Иван разговаривал сам с собою, бормоча невнятно. Он спустился к промкомбинатскому кирпичному заводу, там он пролез через заборную щель, пошел ямами карьеров. Среди ям горела обжигная печь. Иван полез под землю, в печную яму, — там было очень тепло и очень душно, из щелей от заслонов шел красный свет. Здесь на земле валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с промкомбинатом: они бесплатно жгли печь кирпичного завода, эту, огнем которой обжигался кирпич, — и они бесплатно жили около печи, люди, остановившие свое время эпохой военного коммунизма, избрав председателем себе Ивана Ожогова. На соломе около доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы. Ожогов присел рядом, подрожал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь, положил на стол деньги и кусок пирога.

— Не плакали? — спросил один из оборванцев.

— Нет, не плакали, — ответил Ожогов.

Помолчали.

— Тебе итти, товарищ Огнев,—сказал Ожогов.

Вползли в глину подземелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете, прилегли, положи-

ли на доски деньги и хлеб. Человек лет сорока, — уже старик, — лежавший в самом темном тепле, Огнев, подполз к доске, сосчитал деньги, — полез из подземелья наверх. Остальные остались сидеть и лежать в безмолвии, — один из пришедших лишь молвил, что завтра с утра надо будет грузить баржу дровами. Огнев вернулся скоро с бутылками водки. Тогда охломоны придвинулись к доске, достали кружки, сели кружком. Товарищ Огнев разлил водку, чокнулись, безмолвно выпили.

— Теперь я буду говорить, — сказал Ожогов. — Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они погибли, разбившись о землю, упав с неба. Они погибли, но люди не оставили их дела. Люди уцепились за небо, — и люди — летают, товарищи, они летают над землей, как птицы, как орлы! — Товарищ Ленин погиб, как братья Райты, — я был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году все кончилось. Настоящие коммунисты во всем городе — только мы, и вот нам осталось место только в подземельи. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока я жив. Наши идеи не погибнут. Какие были идеи! — теперь уже никто не помнит этого, товарищи, кроме нас. Мы — как братья Райты!..

Товарищ Огнев налил по второму залпу водки. И Огнев перебил Ожогова:

— Теперь я скажу, председатель! какие были дела! как дрались! я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом, день, идем ночь, и еще

день, и еще ночь. И вот на рассвете слышим — пулеметы...

Огнева перебил Пожаров,—он спросил Огнева:

— А как ты рубишь? — ты как большой палец держишь при рубке, согнув или прямо? — ты покажи!

— На лезвие. Прямо, — ответил Огнев.

— Все на лезвие. Ты покажи. Вот, на ножик, покажи!

Огнев взял сапожный нож, которым охломоны резали хлеб, и показывал, как он кладет большой палец на лезвие.

— Не правильно ты рубаешь! — крикнул Пожаров. — Я саблю при рубке держу не так, я режу, как бритвой. Дай, покажу! — не правильно ты рубаешь!

— Товарищи! — молвил тихо Ожогов, и лицо его исказилось сумасшедшей болью, — мы об идеях должны сегодня говорить, о великих идеях, а не о рубке!

Ожогова перебил четвертый, он крикнул:

— Товарищ Огнев! ты был в третьей дивизии, а я во второй, — помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки!?!..

— Мы прозевали!? — нет, это вы прозевали, а не мы!?!..

— Товарищи! — опять тихо и сумасшедше молвил Ожогов, — мы об идеях должны говорить!..

К полночи люди в подземельи у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право жить в под-

земельи у печи кирпичного завода. Они спали свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, прикрывшись своими лохмотьями. Последним заснул их председатель Иван Ожогов, — он долго лежал около жерла печи, с листком бумаги. Он лежал на животе, положив бумагу на землю. Он му-солил карандаш, он хотел написать стихи. — «Мы подняли мировую», — написал он и зачеркнул. — «Мы зажгли мировой», — написал он и зачеркнул. — «Вы, которые греете воровские руки», — написал он и зачеркнул. — «Вы — либо лакеи, иль идиоты», — написал он и зачеркнул. Слова не шли к нему. Он заснул, опустив голову на исчерканный лист бумаги. Здесь спали коммунисты призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди остановившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземельи и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен, — впрочем, жены ушли от них, от их мечтаний, их сумасшествия и алкоголя. — В подземельи было очень душно, очень тепло, очень нище.

Полночь следовала над городом неподвижная и черная, как история этих мест.

В полночь на лестнице в мезонин младший реставратор Степан Федорович остановил Катерину, потрогал ее плечи, крепкие, как у лошади, пощупал их пьяною рукою и сказал тихо:

— Ты, там, скажи своим... сестрам... Опять устроим. Найдите, мол, место...

Катерина стояла покорно и покорно прошептала:

— Хорошо, скажу.

Внизу в ту минуту Яков Карпович развивал Павлу Федоровичу теории цивилизации. В гостиной на круглом столе стоял стеклянно-бронзовый фрегат, приспособленный для наливания алкоголя, чтобы путем алкоголя, разливаемого через краник из фрегата и через рюмки по человеческим горлам, — путем алкоголя путешествовать на этом фрегате по фантазиям. Этот фрегат был вещью осьмнадцатого века. Фрегат был налит коньяком. Павел Федорович сидел в безмолвии. Яков Карпович копошился вокруг Павла Федоровича, топтался голубком на ногах, через прореху поддерживая грыжу.

— Да-с, кхэ, — говорил он. — Что же по вашему движет миром, цивилизацию, науку, пароходы. Ну, что?

— Ну, что? — переспросил Павел Федорович.

— А по вашему что? — труд? знание? голод? любовь? — нет! — Цивилизацией движет — память! — Представьте себе картину, завтра утром у людей пропадет память, — инстинкты, разум остались, — а памяти — нет. Я проснулся на кровати, — и я падаю с кровати, потому-что я по памяти знаю о пространстве, а раз памяти нет, я этого не знаю. На стуле лежат штаны, мне холодно, но я не



знаю, что со штанами делать. Я не знаю, как мне ходить, на руках или на четвереньках. Я не помню вчерашнего дня, значит, я не боюсь смерти, ибо не знаю о ней. Инженер забыл всю свою высшую математику, и все трамваи и паровозы стоят. Попы не найдут дорогу в церковь, а так же ничего не помнят об Иисусе Христе. Да, кхэ!.. У меня остались инстинкты, хотя они тоже вроде памяти, но допустим, — и я не знаю, что мне есть, стул или хлеб, оставшийся на стуле с ночи, — а увидев женщину, я свою дочь приму за жену.

Алкогольный фрегат на столе норд-остами пояснял мысли Якова Карповича, — вместе с фрегатом в красном дереве гостиной застрял от осьмнадцатого века российский Вольтер. За окнами осьмнадцатого века шла советская уездная ночь.

Еще через час дом Скудриных спал. И тогда в кислой тишине спальни, зашлепали туфли Якова Карповича — к постели Марии Климовны. Мария Климовна, древняя старушка, спала. Свеча в руке Якова Карповича дрожала. Яков Карпович хихикал. Яков Карпович коснулся пергаментного плеча Марии Климовны, глаза его заслезились в наслаждении. Он зашептал:

— Марьюшка, Марьюшка, это жизнь, это жизнь, Марьюшка.

Осьмнадцатый век провалился в вольтеровский мрак.

Наутро над городом умирали колокола и выли, разрываясь в клочья. Братья Бездетовы просну-

лись рано, но Мария Климовна встала еще раньше, и к чаю были горячие с грибами и с луком пирожки. Яков Карпович спал. Катерина была заспана. Чай пили молча. День настал сер и медленен. После чая братья Бездетовы пошли на работу. Павел Федорович составил на бумажке реестрик домов и семей, куда надо было идти. Улицы лежали в безмолвии уездных мостовых, каменных заборов, бурьянов под заборами, бузины на развалинах пожарища, церквей, колоколен, — и глохли в безмолвии, когда начинали ныть колокола, и орали безмолвием, когда колокола ревели, падая.

Бездетовы заходили в дом молчаливо, рядом, и смотрели кругом слепыми глазами.

1. На Старой Ростовской стоял дом, покривившийся на бок. В этом доме умирала вдова Мышкина, вдова—семидесятилетняя старуха. Дом стоял углом к улице, потому-что он был построен до возникновения улицы — и дом этот был строен не из пиленого леса, а из тесанного, потому-что он возник во времена, когда русские плотники пилы еще не употребляли, строя одним топором, — то-есть, до времен Петра. По тогдашним временам дом был боярским. В доме от тех дней хранились — кафельная печь и кафельная лежанка, изразцы были разрисованы барашками и боярами, залиты охрой и глазурью.

Бездетовы вошли в калитку не постучавшись. Старушка Мышкина сидела на завалинке перед свиным корытом, свинья ела из корыта ошпарен-

ную кипятком крапиву. Бездетовы поклонились старушке и молча сели около нее. Старушка ответила на поклон и растерянно, и радостно, и испуганно. Была она в рваных валенках, в ситцевой юбке, в персидской пестрой шали.

— Ну, как, продаете? — спросил Павел Бездетов.

Старушка спрятала руки под шаль, опустила глаза в землю к свинье, — Павел и Степан Федорович глянули друг на друга, и Степан мигнул глазом — продаст. Костяною рукою с лиловыми ногтями старушка утерла уголки рта, и рука ее дрожала.

— Уж и не знаю, как быть, — сказала старушка и виновато глянула на братьев, — ведь деды наши жили и нам завещали, и прадеды, и даже времена теряются... А как помер мой жилец, царствие небесное, прямо не в моготу стало, — ведь он мне три рубля в месяц за комнату платил, керосин покупал, мне вполне хватало... А вот и батюшка мой и матушка моя на этой лежанке померли... Как же быть... Царствие небесное, жилец был тихий, платил три рубля и помер на моих руках... Уж я думала, думала, сколько ночей не спала, смутили вы мой покой.

Сказал Павел Федорович.

— Изразцов в печке и лежанке сто двадцать. Как уговаривались, по двадцать пять копеек изразец. Итого сразу вам тридцать рублей. Вам на всю жизнь хватит. Мы пришлем печника, он их вынет

и поставит на их место кирпичи, и побелит. И все за наш счет.

— О цене я не говорю, — сказала старушка, — цену вы богатую даете. Такой цены у нас никто не даст... Да и кому они, кроме меня, нужны? — вот, если бы не родители... одинокая я...

Старушка задумалась. Думала она долго, — или ничего не думала? — глаза ее стали невидящими, провалились в глазницы. Свинья съела свою крапиву и тыкала пяточком в старухин валенок. Братья Бездетовы смотрели на старуху деловито и строго. Вновь старуха утерла уголки губ трясущейся рукою. Тогда она улыбнулась виновато, виновато глянула по сторонам, по косым заборчикам двора и огорода, — виновато опустила глаза перед Бездетовыми.

— Ну, так и быть, дай вам бог! — сказала старушка и протянула руку Павлу Федоровичу, неумело и смущенно, но так, как требует заправская торговая традиция, — отдала изразцы из полы в полу.

2. На соборной площади в полуподвале бывшего собственного дома жила семья помещиков Тучковых. Прежняя их усадьба превратилась в молочный завод. Здесь в подвале жили — двое взрослых и шестеро детей, — две женщины — старуха Тучкова и ее сноха, муж которой, бывший офицер, застрелился в 1925-ом году накануне смерти от туберкулеза. Старик-полковник был убит в 1915-ом году на Карпатах. Четверо детей принадлежали Ольге Павловне, как звали сноху, — двое осталь-

ных принадлежали расстрелянному за контр-революцию младшему Тучкову. Ольга Павловна была кормилицей, играла по вечерам в кинематографе на рояли. И она, тридцатилетняя женщина, походила на старуху.

Подвал был отперт, как во всех нищих домах, когда туда пришли братья Бездетовы. Их встретила Ольга Павловна. Она закивала головой, приглашая войти, — она побежала вперед, в так называемую столовую, прикрыть кровать, чтобы посторонние не видели, что под одеялом нет постельного белья. Ольга Павловна глянулась в триптих зеркала на туалете александровско-ампирного — красного дерева. Братья были деловиты и действенны. Степан поднимал стулья вверх ножками, отодвигал диван, поднимал матрас на кровати, выдвигал ящики в комод — рассматривал красное дерево. Павел перебирал миниатюры, бисер и фарфор. У молодой старухи Ольги Павловны осталась легкость девичьих движений и умение стыдиться. Реставраторы чинили в комнатах молчаливый разгром, вытаскивая из углов грязь и нищету. Шестеро детей лезли к юбке матери в любопытстве к необыкновенному, двое старших готовы были помогать в погроме. Мать стыдилась за детей, младшие хныкали у юбки, мешая матери стыдиться. Степан отставил в сторону три стула и кресло, и он сказал:

— Ассортимента нет, гарнитура.

— Что вы сказали? — переспросила Ольга Павловна, — и крикнула беспомощно на детей: — Де-

ти, пожалуйста, уйдите отсюда! вам здесь не место, прошу вас...

— Ассортимента нет, гарнитура, — сказал Степан Федорович. — Стульев три, а кресло одно. Вещи хорошие не спорю, но требуют большого ремонта. Сами видите — в сырости живете. А гарнитур надо собрать.

Дети притихли, когда заговорил реставратор.

— Да, — сказала Ольга Павловна и покраснела, — все это было, но едва-ли можно собрать. Часть осталась в имении, когда мы уехали, часть разошлась по крестьянам, часть поломали дети, и — вот — сырость, я отнесла в сарай...

— Поди, велели в двадцать четыре часа уйти? — спросил Степан Федорович.

— Да, мы ушли ночью, не ожидая приказа. Мы предвидели...

В разговор вступил Павел Федорович, он спросил Ольгу Павловну:

— Вы по французски и по английски понимаете?

— О, да, — отвѣтила Ольга Павловна, — я говорю...

— Эти миниатюрки будут — Бушэ и Госвей?

— О, да! — эти миниатюры...

Павел Федорович сказал, глянув на брата:

— По четвертному за каждую можно дать.

Степан Федорович брата перебил строго:

— Если гарнитур мебели, хоть бы половинный, соберете, куплю у вас всю мебель. Если, говорите, имеется у мужиков, можно к ним съездить.

— О, да! — ответила Ольга Павловна. — Если половину гарнитура... До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка... Половину гарнитура можно собрать. Я схожу сегодня в деревню и завтра дам ответ. Но — если некоторые вещи будут поломаны...

— Это не влияет, скинем цену. И не то, чтобы ответ, а прямо везите, чтобы завтра все можно у вас получить и упаковать. Диваны пятнадцать рублей, кресла семь с полтиной, стулья по пяти. Упаковка наша.

— О, да, я схожу сегодня, до нашей деревни только тринадцать верст, это почти прогулка... Я сейчас же пойду.

Сказал старший мальчик:

— Мамап, и тогда вы купите мне башмаки?

За окнами был серый день, за городом лежали российские проселки.

3. Барин Вячеслав Павлович Каразин лежал в столовой на диване, прикрывшись беличьей курткой, вытертой до невозможности. Столовая его, как и кабинет-спальня его и его супруги, являли собою кунсткамеру, разместившуюся в квартире почтового извозчика. Братья Бездетовы стали у порога и поклонились. Барин Каразин долго рассматривал их и гаркнул:

— Вон! жжулики. Вон отсюда!

Братья не двинулись.

Барин Каразин налился кровью и вновь гаркнул:  
— Вон от меня, негодяи!

На крик вышла жена. Братья Бездетовы поклонились Каразиной и вышли за дверь.

— Надин, я не могу видеть этих мерзавцев, — сказал барин Каразин жене.

— Хорошо Вячеслав, вы уйдете в кабинет, я переговорю с ними. Ах, вы же все знаете Вячеслав!  
— ответила барыня Каразина.

— Они перебили мой отдых. Хорошо, я уйду в кабинет. Только пожалуйста без фамильярностей с этими рабами.

Барин Каразин ушел из комнаты, волоча за собою куртку, вслед ему в комнату вошли братья Бездетовы, еще раз почтительно поклонились.

— Покажите нам ваши русские гобелены, а также скажите цену бюрца, — сказал Павел Федорович.

— Присядьте, господа, — сказала барыня Каразина.

Распахнулась дверь из кабинета, высунулась из двери голова барина. Барин Каразин закричал, глядя в сторону к окнам, чтобы случайно не увидеть братьев Бездетовых:

— Надин, не разрешайте им садиться! Разве они могут понимать прелесть искусства! Не разрешайте им выбирать! — продайте им то, что находим нужным продать мы. Продайте им фарфор, фарфоровые часы и бронзу!..



— Мы можем и уйти,—сказал Петр Федорович.

— Ах, подождите, господа, дайте успокоиться Вячеславу Павловичу, он совсем болен, — сказала барыня Каразина и села беспомощно к столу. — Нам же необходимо продать несколько вещей. Ах, господа!.. Вячеслав Павлович, прошу вас, прикройте дверь, не слушайте нас, — уйдите гулять...

4 — 5 — 7 — —

К вечеру, когда галки разорвали день и перестали выть колокола, братья Бездетовы вернулись домой и обедали. После обеда Яков Карпович Скудрин снаряжился в поход. В его карманах были бездетовские деньги и реестрик. Старик одел широкополую фетровую шляпу и овчинный полушубок, на ногах у него были опорки. Он шел к плотнику, к возчику, за веревками и рогожами, — распорядиться, упаковать купленное и отвезти на пароходную пристань для отправки в Москву. Старик был у дел, он сказал, уходя:

— Надо-бы охломонам поручить перенос и упаковку, самые честные люди, хоть и юроды. Да нельзя. Братец Иван им не позволит, их самый главный революционер, — не даст работать на контр-революцию, хи-хи!..

Братья Бездетовы устроились в гостиной отдыхать. Земля последовала на ночь. Весь вечер стучались крадкою люди в окошко Марии Климовны, — к ним выходила Катерина, — и люди, нищенски заискивая, предлагали, — «дескать, гости у вас живут, всякие старинные вещи покупают», —

старинные рубли и копейки, испорченные лампы самовары старые, книги, подсвечники, — эти люди не понимали искусства старины, они были нищи всячески, — Катерина не допускала их до гостей, с их медными лампами, предлагая вещи оставить до завтра, когда гости, отдохнув, глянут. Вечер был темен. В закат подул ветер, нанес тучи, заморосил дождь осенней непреложностью, — лесом, дорожными грязями (теми самыми, в которых в эти дни завязал Аким Скудрин) шла Ольга Павловна, женщина с лицом старухи и с движеньями, девически легкими. Лес шумел ветром, в лесу было страшно. Эта женщина в девическом страхе леса шла в свою деревню, чтобы у крестьян купить, ненужные крестьянам, кресла.

Часов в восемь вечера Катерина отпросилась у матери — сначала на спевку, потом к подруге, — нарядилась и ушла. Через полчаса после нее вышли в дождь Степан и Павел Федоровичи. Катерина ждала их за мостом. Степан Федорович взял Катерину под руку. Они пошли вдоль оврага, тропинкой, в крошечной темноте, к окраинам города. Там жили старухи-тетки Скудрины. Катерина и Бездетовы ворами прошли во двор, ворами пошли в сад. В глубине сада стояла глухая баня.

Катерина постучала, полуоткрылась дверь. В бане горел свет, там гостей ожидали три девушки. Окна девушки глухо занавесили, к ступенькам на полок придвинули стол. Девушки были празднично наряжены, поздоровались торжественно.

Братья Бездетовы вынули из карманов бутылки с коньяком и портвейном, привезенные из Москвы.

Девушки раскладывали на столе — на бумаге — вареную колбасу, шпроты, конфеты, помидоры и яблоки. Старшая в компании — Клавдия — достала из-за печки бутылку водки. — Все говорили шепотом. Братья Бездетовы сели рядом на ступень к полку. На полке горела железная лампа.

Через час девушки были пьяны, — и тем не менее они говорили шепотом. У пьяных людей, и у пьяных женщин, в частности, когда они очень пьяны, надолго на лицах застревают одни и те же выражения, созданные алкоголем. Клавдия сидела за столом, по мужски оперев голову рукою, зубы ее были оскалены, а губы окаменели в презрении, — иногда голова ее сползала с руки, тогда она рвала свои стриженные волосы, не чувствуя боли, — она курила одну папиросу за другой и пила коньяк, — она была очень румяна и безобразно красива. Она говорила брезгливо:

— Я пьяна? — да, пьяна. И пусть. Завтра я опять пойду в школу учить, — а что я знаю? чему я учу? — А в шесть часов я пойду на родительское совещание, которое я созвала. Вот мой блок-нот, тут все написано... Я пью — эх, была, не была! — вот я и пьяна. Кто вы такие? какие вы мне родственники? вы красное дерево покупаете? старину? — вы и нас хотите купить вином? — вы думаете, я не знаю, что такое жизнь? нет, знаю, у меня ско-

ро будет ребенок... а кто его отец я не знаю... И пусть, и пусть!

Зубы Клавдии были оскалены и глаза неподвижны. Павел приставал с просьбою к Зине, самой младшей, — эта была коротконогой хохотушкой в кудельках белых волос, — она сидела на чурбане поодаль от всех, расставив ноги и упираясь руками в боки. Павел Федорович говорил:

— А вот ты, Зина, кофточку не снимешь, лифчик не расстегнешь, не смеешь!

Зина зажимала себе рот, чтобы громко не хохотать, хохотала и говорила:

— А вот и покажу!

— Нет, не покажешь! не смеешь!

Клавдия сказала в презрении:

— Покажет. Зинка, покажи им грудь! пусть смотрят. Хотите, я покажу? — вы думаете, я пьяница? — нет, последний раз я была пьяна, когда вы приезжали. И сегодня пошла, чтобы напиться — в дым, в дым — понимаете? — в дым!.. была-небыла!.. Зинка, покажи им грудь! ведь показываешь своему Коле... Хотите, я покажу!?

Клавдия рванула ворот своей кофточки. Девушки бросились к ней. Катерина сказала рассудительно:

— Клава, не рви одежду, а то дома узнают.

Зина с трудом держалась на ногах, она обняла Клавдию, схватив ее за руки. Клавдия поцеловала Зину.

— Не рвать? — спросила она. — Ну, хорошо, не буду... А ты покажи им... Пусть глядят, мы не стыдимся предрассудков!.. Вы красное дерево покупаете?

— Хорошо, я покажу, — покорно сказала Зина и деловито стала расстегивать кофточку.

Четвертая девушка вышла из бани, ее тошнило. — Конечно, Бездетовы чувствовали себя покупателями, они умели только покупать.

За баней шел дождь, шумели в ветре деревья. — В тот час Ольга Павловна добралась уже до своей деревни и, счастливая, благодарная деду Назару, что он продал ей стулья и кресло, засыпала на полу на соломе в Назаровой избе. Барин Каразин бился в тот час в припадке старческой истерии. Охломоны в тот час в подземельи у печи глазами и голосами сумасшедших утверждали девятьсот девятнадцатый год, когда все было общее, и хлеб, и труд, когда ничего не было позади и впереди были идеи, и не было денег, потому-что они были ненужны. — А еще через час баня опустела. Пьяные женщины и братья Бездетовы пошли по домам, — пьяные девушки бесшумно крались в домах к своим постелям. На полу в бане остался валяться блок-нот. В блоке было записано: — «собрать на 6 час. 7-го родительское совещание». — «На собрании месткома предложить записаться на заем индустриализации в размере месячного оклада». — «Александрю Алексеевичу предложить повторить Азбуку Коммунизма» — —

Наутро еновь ныли колокола и наутро потащились к пароходной пристани, под управлением Якова Карповича, возы красного дерева, екатерины, павлы, александры. Братья Бездетовы спали до полдня. На кухне к этому часу собралась толпа ждущих участи их старых рублей, ламп, подсвечников.

Город — русский Брюгге.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...И в эти же дни, двумя днями позднее братьев Бездетовых, приехал в город инженер Аким Скудрин, младший сын Якова Карповича. Сын не пошел к отцу, остановившись у теток Капитолины и Риммы. Инженер Аким приехал без дел, у него была свободная неделя — —

...Капитолина Карповна идет к окну. Провинция. Кирпичный, красный развалившийся забор упирается в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом в церковь, — дальше площадь, городские весы, опять церковь. Идет дождь. Свинья нюхает лужу. Из-за угла выехал водовоз. — Из калитки вышла Клавдия, в смазных сапогах, в черном до сапог пальто, в синей повязке на голове, — опустила голову, перешла улицу, пошла под развалинами забора, ушла за угол на площади. Глаза Капитолины Карповны светлы, — она долго следит за Клавдией. За стѣнкой Римма Карповна кормит внучку, дочь старшей своей Варвары. В комнате очень бедно и очень чисто, прибрано, устоялось десятилетиями, — как должно быть у старой девы

— у девы-старухи, узкая кровать, рабочий столик, машинка, манекен, занавески. Капитолина Карповна идет в столовую.

— Риммочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клавдия. Варя тоже ушла?

Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, были потомственными, почетными, столбовыми мещанками, белошвейками, портнихами. Жизни их были просты, как линии их жизней на ладонях левых рук. Сестры были погодками, Капитолина — старшая. И жизнь Капитолины была полна достоинства мещанской морали. Вся жизнь ее прошла на ладони все-городских глаз и все-городских правил. Она была уважаемым мещанином. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всенощными, все ее дни склонились над мережками и прошивками блузок и сорочек, тысяч сорочек, — что ни разу никто чужой не поцеловал ее, — и только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые кладут морщины на сердце, — а в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, — и ни разу в жизни она не была любима, не знала тайных грехов. Она осталась примером все-городских законов, девушка, старуха, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, бога, традиций. — И по другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки. Это было двадцать восемь лет тому назад, это длилось тогда три года — тремя годами позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это было в дни,



когда годы Риммы закатились за тридцать, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В городе жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь. Он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма не устояла против своей любви. Все было позорно. В этой любви было все, позорящее женщину в морали уездных законов, и все было неудачно. Кругом стояли леса, где можно было-бы сохранить тайну, — она отдалась этому человеку ночью на бульварчике, — она постыдилась понести домой изорванные и грязные в крови (в святой, в сущности, крови) панталоны, — она засунула их в кусты, — и их нашли всенародно наутро мальчишки, — и ни разу за все три года ее позора она не встретилась со своим любовником под крышею дома, встречаясь в лесу и на улицах, в развалинах домов, на пустующих баржах, даже осенью и зимой. Брат Яков Карпович прогнал сестру из дома отказавшись от нее, — даже сестра Капитолина стала против сестры. На улицах в нее тыкали пальцами и не узнавали ее. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наушала — тоже бить — слободских парней, — и город своими законами был на стороне законной жены. У Риммы родилась дочь Варвара, ставшая свидетельством позора и позором. У Риммы родилась вторая девочка — Клавдия, и Клавдия была вторым свидетельством позора. Казначейский любитель уехал из этого города. Римма осталась одна с двумя

детьми, в жестоком нищенстве и позоре, женщина, которой тогда было уже много за тридцать лет. — И вот теперь прошло еще почти тридцать лет с тех пор. Старшая дочь Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у нее уже двое детей. У Риммы Карповны двое внучат. Муж Варвары служит. Варвара служит. Римма Карповна ведет большое хозяйство, родоначальница. И Римма Карповна — добрая старушка — счастлива своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной. У низенькой полной старушки — такие добрые и полные жизни глаза. И у Капитолины Карповны теперь — только одна мысль: жизнь Риммы, Варвары, Клавдии, внучат, — ее целомудрие и все-городская честность оказались ни-к-чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни.

Капитолина Карповна говорит:

— Риммочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клава. Варя тоже ушла?

За окнами провинция, осень, дождь. — И тогда в прихожей скрипит блок, мужские сапоги топают о пол, чтобы стряхнуть сырость и грязь, — и в комнату входит человек, беспомощно оглядывающийся, как все близорукие, когда они снимают очки. Это инженер Аким Яковлевич Скудрин, гочь в точь такой же, как лет пятьдесят тому назад был его отец. Он приехал — неизвестно, к чему.

— Здравия желаю, дорогие тетки! — говорит Аким и первой он целует тетку Римму.

Провинция, дождь, осень, российский самовар.

...Инженер Аким приехал без дел. Тетки его встретили самоваром, скоро сделанными лепешками и тем радушием, которое бывает у русской провинции. К отцу и к начальству Аким не пошел. Над городом ныли умирающие колокола, здравствовали улицы в целебной ромашке. Аким пробыл здесь сутки и уехал отсюда, установив, что родина ему не нужна: город его не принял. День его прошел с тетками, в бродяжествах памяти по времени, в тщете памяти, в жестокой нищете текток, их дел, их мыслей, их мечтаний. Вещи в доме стояли, как двадцать, как двадцать пять лет тому назад, и манекен, который был страшен в детстве, теперь не пугал. К сумеркам вернулась из школы Клавдия. Они сели вдвоем на диван, двоюродные братья, разделенные возрастом на десять лет.

— Как жизнь? — спросил Аким.

Говорили о пустяках, и потом Клавдия заговорила о главном для нее, она говорила очень просто. Она была очень красива и очень покойна. Сумерки медлили и темнели.

— Я хочу посоветоваться с тобою, — сказала Клавдия. — У меня должен быть ребенок. Я не знаю, как мне поступить? — я не знаю, кто его отец.

— Как ты не знаешь, кто его отец?

— Мне двадцать четыре, — сказала Клавдия. — Весной я решила, что пора стать женщиной, и я стала ей.

— Но у тебя есть любимый человек?

— Нет, нету. Их было несколько. Мне было любопытно. Я сделала это от любопытства, и потом — пора, мне двадцать четыре.

Аким не нашелся, как спрашивать дальше.

— В центре моего внимания лежала не любовь к другому, а сама я и мои переживания. Я выбирала себе мужчин, разных, чтобы все познать. Я не хотела беременеть, пол — это радость, я не думала о ребенке. Но я забеременела и я решила не делать аборта.

— И ты не знаешь, кто муж?

— Я не могу решить, кто. Но мне это не важно. Я — мать. Я справлюсь, и государство мне поможет, а мораль... Я не знаю, что такое мораль, меня разучили это понимать. Или у меня есть своя мораль. Я отвечаю только за себя и собою. Почему отдаваться — не морально? — я делаю, что я хочу, и я ни перед кем не обязываюсь. Муж? — я его ничем не хочу обязывать, мужья хороши только тогда, когда они нужны мне и когда они ничем не обременены. Мне он не нужен в ночных туфлях и чтобы родить. Люди мне помогут, — я верю в людей. Люди любят гордых и тех, кто не отягощает их. И государство поможет. Я сходилась с теми, кто мне нравился, потому что мне нравилось. У меня будет сын или дочь. Теперь я никому не отдаюсь, мне не нужно. Вчера я напилась пьяной, последний раз. Я говорю с тобою, как думаю. Мне противно, что я вчера была пья-

на. Но — вот ребенку, быть-может, нужен будет отец. Ты ушел от отца, — и я без отца родилась и никогда о нем не слышала ничего, кроме гадости, в детстве мне это было обидно и я сердилась на мать. И все-же я решила не делать аборта, вся моя утроба полна ребенком. Это даже большая радость, чем... Я сильная и молодая.

Аким не мог собрать мыслей. Перед глазами на полу лежали дорожки из лоскутьев, путины бедности и мещанства. Клавдия была покойна, красива, сильна, очень здоровая и очень красивая. За окнами моросил дождь. Аким-коммунист — хотел знать, что идет новый быт, — быт был древен. Но мораль Клавдии для него была — и необыкновенна, и нова, — и не правильна-ли она, если так воспринимает Клавдия?

Аким сказал:

— Роди.

Клавдия прислонилась к нему, положила голову к нему на плечо, подобрала ноги, стала уютной и слабой.

— Я очень физиологична, — сказала она. — Я люблю есть, люблю мыться, люблю заниматься гимнастикой, люблю, когда Шарик, наша собака, лижет мне руки и ноги. Мне приятно царапать до крови мои колени... А жизнь — она большая, она кругом, я не разбираюсь в ней, я не разбираюсь в революции, — но я верю им, и жизни, и солнышку, и революции, и я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня. Остальное мне даже неинтересно.

По половику к дивану прошел кот и привычно прыгнул на колени Клавдии. За окнами стемнело. За стеной загорелась лампа и зашила машинка. В темноту пришел мир.

Вечером Аким ходил к дяде Ивану, переименовавшему себя из Скудрина в Ожогова. Охломон Ожогов вышел к племяннику из печи. Потому-что вокруг кирпичных заводов разворачивают землю, а крыши кирпичных сараев низки и длинные, — кирпичные заводы всегда похожи на места разрушения и таинственности. Охломон был пьян. С ним нельзя было разговаривать, — но он был очень рад, очень счастлив, что к нему пришел племянник. Охломон с трудом держался на ногах и дрожал собачьей дрожью.

Охломон повел племянника под навес кирпичного сарая.

— Пришел, пришел, — шептал он, прижимая дрожащие руки к дрожащей груди.

Он посадил племянника на тачку, опрокинув ее вверх дном.

— Выгнали? — спросил он радостно.

— Откуда? — переспросил Аким.

— Из партии, — сказал Иван Карпович.

— Нет.

— Нет? не выгнали? — переспросил Иван и в голосе его возникла печаль, — но кончил он бодро: — ну, не сейчас, так потом выгонят, всех ленинцев и троцкистов выгонят!

Дальше Иван Карпович бредил — в бреду рассказывал о своей коммуне, о том, как был первым председателем исполкома, какие были те годы и как они погибли, грозные годы, как потом прогнали его из революции и ходит он теперь по людям, чтобы заставляя их плакать, помнить, любить, — он опять рассказывал о своей коммуне, о ее равенстве и братстве, — он утверждал, что коммунизм, есть первым делом любовь, напряженное внимание человека к человеку, дружба, содружество, соработа, — коммунизм есть отказ от вещей и для коммунизма истинным первым делом должны быть любовь, уважение к человеку и — люди. Аккуратненький старичишка дрожал на ветру, перебирая худыми, тоже дрожащими руками, ворот пиджака. Двор кирпичного завода утверждал разрушение. Инженер Аким Скудрин был плотью от плоти Ивана Ожогова. — ...Нищие, побироши, провидоши, волочебники, лазари, странники, убогие, калики, пророки, юродивые — это все крендели быта святой Руси, канувшей в вечность, нищие на святой Руси, юродивые святой Руси Христа ради. Эти крендели были красою быта, христовою братией, мольцами за мир. — Перед инженером Акимом был — нищий побироша, юродивый лазарь — юродивый советской Руси справедливости ради, молец за мир и коммунизм. Дядя Иван был, должно быть шизофреником, у него был свой пунктик: он ходил по городу, он приходил к знакомым и незнакомым и он просил

их плакать, — он говорил пламенные и сумасшедшие речи о коммунизме, и на базарах многие плакали от его речей, он ходил по учреждениям, и сплетничали в городе, будто некоторые вожди мазали тогда луком глаза, чтобы через охломонов снискать себе в городе необходимую им городскую популярность. Иван боялся церквей, и он клял попов, не боясь их. Лозунги Ивана были самыми левыми в городе. В городе чтили Ивана, как причились на Руси столетьями чтить юродивых, тех, устами которых глаголет правда и которые ради правды готовы итти умирать. Иван пил, разрушаясь алкоголем. Он собрал вокруг себя таких же, как он, выкинутых революцией, но революцией созданных. Они нашли себе место в подземелии, у них был подлинный коммунизм, братство, равенство, дружба — и у них у каждого была своя сумасшедшесть: один имел пунктиком переписку с пролетариями Марса, — другой предлагал выловить всю взрослую рыбу в Волге и строить на Волге железные мосты, чтобы рыбою расплачиваться за эти мосты, — третий мечтал провести в городе трамвай.

— Плачь! — сказал Иван.

Аким не сразу понял Ивана, отрываясь от своих мыслей.

— Что ты говоришь? — спросил он.

— Плачь, Аким, плачь, сию-же минуту за утеранный коммунизм! — крикнул Иван и прижал



свои руки к груди, опустив на грудь голову, как делают молящиеся.

— Да, да, я плачу, дядя Иван, — ответил Аким.

Аким был силен, высок, громоздок. Он встал около Ивана. Аким поцеловал дядю.

Хлестал дождь. Мрак кирпичного завода утверждал разрушение.

Аким возвращался от охломона городом, через базарную площадь. В одиноком окне горел свет. Это был дом городского чудака музееведа. Аким подошел к окну, — когда-то он вместе с музееведом рылся в кремлевских подземельях. Он собирался постучать, но он увидел странное и не постучал. Комната была завалена стихарями, ораями, ризами, рясами. Посреди комнаты сидели двое: музеевед налил из четверти водки и поднес рюмку к губам голого человека, тот не двинул ни одним мускулом. На голове голого человека был венец. И Аким тогда разглядел, что музеевед пьет водку в одиночестве, с деревянной статуей сидящего Христа. Христос был вырублен из дерева в рост человека. Аким вспомнил, — мальчиком он видел этого Христа в Дивном монастыре. этот Христос был работы семнадцатого века. Музеевед пил со Христом водку, поднося рюмки к губам деревянного Христа. Музеевед расстегнул свой пушкинский сюртук, баки его были всклокочены. Голый Христос в терновом венце показался Акиму живым человеком.

Поздно ночью к Акиму пришла его мать, Мария Климовна. Тетки вышли из комнаты. Мать пришла в домашнем затрапезном платье, прибежала накинув на плечи платок. На глазах у матери были очки, перевязанные ниткою, — чтобы лучше разглядеть сына. И мать была торжественна, как на причастии. Мать обняла сына, мать прижала свою сухенькую грудь к груди сына, мать перебирала своими костяными пальцами волосы сына. мать прижала голову свою к шее сына. Мать даже не плакала. Она была очень серьезна. Не веря глазам, она пальцами отрагивала сына. И она благословила его.

— Не придешь — к нам не придешь, сынок? — спросила мать.

Сын не ответил.

— Зачем-же тогда — я-то — прожила свою жизнь?

Сын знал, что отец побьет мать, если узнает, что она приходила к сыну. Сын знал, что мать долгими часами сидит в темноте, когда спит отец, и думает о нем, о ее сыне. Сын знал, что мать от него ничего не скроет и — ничего, ничего не расскажет нового, — старое-ж проклято, — а мать — мать! — единственное, чудеснейшее, прекраснейшее, — его мать, подвижница, каторжница и родная всей своею жизнью. — И сын не ответил матери, ничего не сказал матери.

. . . . .

Наутро инженер Аким уехал. Пароход уходил вечером, — он поехал пятьдесят верст на лошадях, чтобы поспеть к ночному поезду. Ему подали тарантас и пару гнедых. День был голомяным, — то дождь, то солнце и синее небо. Дорога шла по московскому тракту. Грязи развезло по втулки колес и по колена лошадям. Ехали дремучими лесами, леса стояли пасмурны, мокры, безмолвны. Возница торчал на козлах, стар и молчалив. Лошади шли шагом. На пол-дороге, когда Аким начал уже беспокоиться, как-бы не опоздать к поезду, — останавливались покормить лошадей. В кооперативной чайной сказали, что водкой не торгуют, но водку достали напротив у шинкаря, у секретаря сельсовета. Возница подвыпил и заговорил. Он скучно рассказал свою жизнь, — о том, что тридцать лет он работал, как сказал он, по мясному делу и бросил его за ненадобностью с революцией. Когда возница был окончательно пьян, он стал удивляться власти: — «ведь, вот-жа, поди-ж ты, прости господи, — я тридцать лет по мясному делу, а комиссар пришел и в три недели все сделал, а через три недели моего брата сместил по мучному делу, а брат мой по этому делу тоже тридцать лет специализировался!» — и нельзя было понять, действительно ли изумляется возница, или издевается. — Покормили лошадей, поехали дальше, опять молчали.

Инженер Аким был троцкистом, его фракция

была уничтожена. Его родина, его город ему оказался ненужным: эту неделю он отдал себе для раздумий. Ему-б следовало думать о судьбах революции и его партии, о собственной его судьбе революционера, — но эти мысли не шли. Он смотрел на леса — и думал о лесе, о трущобах, о болотах. Он смотрел на небо — и думал о небе, об облаках, о пространствах. Ребра лошадей давно уже покрылись пеной, лошади раздували животы в усталом дыхании. Грязь на дороге лежала непролазно, по дороге разлились озера — именно потому, что здесь шла дорога. Уже сумеречило. Лес безмолвствовал. От мыслей о лесе, о проселках, которым тысячи верст, мысли Акима пришли к теткам Капитолине и Римме, — и в тысячный раз Аким оправдал революцию. У тетки Капитолины была — что называется — честная жизнь, ни одного преступления перед городом и против городских моралей, — и ее жизнь оказалась пустою и никому ненужною. У тетки Риммы навсегда осталось в паспорте, как было-бы написано и в паспорте богоматери Марии, если бы она жила на Руси до революции, — «девица» — «имеет двоих детей», — дети Риммы были ее позором и ее горем. Но горе ее стало ее счастьем, ее достоинством, ее жизнь была полна, заполнена, — она, тетка Римма, была счастлива, — и тетка Капитолина жила счастьем сестры, не имея своей жизни. Ничего не надо бояться, надо делать, — все делаемое, даже горькое, бывает счастьем, — а ничто — ничем и остается.

— И — Клавдия, — не счастливее ли она матери? — тем, что не знает, кто отец ее ребенка, — ибо мать знала, что любила — мерзавца. Аким вспомнил отца: лучше было-б его не знать! — И Аким поймал себя на мысли о том, что думая об отце, о Клавдии, о тетках, — он думал не о них, но о революции. Революция-ж для него была и началом жизни, и жизнью — и концом ее.

Леса и дороги темнели. Выехали в поле. Запад давно уже умирал, израненный красным закатом. Ехали полем — таким же, каким оно было пятьсот лет тому назад, — въехали в деревню, потащились грязями ее семнадцатого века. За древней дорога шла в овраг, переехали мост, за мостом была лужа, которая оказалась непроезжей. Въехали в лужу. Лошади рванули и стали. Возница ударил лошадей кнутом, — лошади дернулись и не сдвинулись с места. Кругом была непролазная грязь, тарантас увязал посреди лужи, увяз левым передним колесом выше чеки. Кучер изловчился на козлах и ударил коренника в зад сапогом, — лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю, лошадь ушла в тину по хомут. Кучер хлестал лошадей пока не понял, что коренник встать не может, — тогда он полез в грязь, чтобы выпрячь лошадь. Он ступил, и нога ушла в грязь по колено, — он ступил второю ногой, — и он завяз, — он не мог вытащить ног, ноги вылезли из сапогов, сапоги оставались в грязи. Старик потерял равновесие и сел в лужу. И старик — запла-

кал, — заплакал горькими, истерическими, бессильными слезами злобы и отчаяния, этот человек, специалист по убиению коров и быков.

К поезду, как и к поезду времени, троцкист Аким опоздал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Искусство красного дерева было безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить, и жили, — около них любили, умирали, в них хранили тайны печалей, любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко. Павел — мальтиец, Павел строг, строгий покой, красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны. Александр — ампир, классика, Эллада. Люди умирают, но вещи живут, — и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших эпох. В 1928-ом году — в Москве, в Ленинграде, по губернским городам — возникли лавки старинностей, где старинность покупалась и продавалась, — ломбардами, госторгом, госфондом, музеями: в 1928-ом году было много людей, которые собирали — «флюиды». Люди, покупавшие вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали — живую жизнь мертвых вещей. И в почете был Павел —

мальтиец — прямой и строгий, без бронзы и завитушек.

Братья Бездетовы жили в Москве на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке, как называлась Владимиро-Долгоруковская встарину. Они были антикварами, реставраторами, — и они, конечно, были «чужаками». Такие люди всегда одиночки и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы. Братья Бездетовы жили в подвале, они были чужаками. Они реставрировали павлов, екатерин, александров, николаев, — и к ним приходили чужаки-собиратели, чтобы посмотреть старину и работу, поговорить о старине и мастерстве, подышать стариной, облюбовать и купить ее. Если чужаки-собиратели покупали что-либо, тогда эта покупка спрыскивалась коньяком, перелитым в екатерининский штоф и из рюмок бывшего императорского — алмазного сервиза.

...А там, у Скудрина моста — там ничего не происходит.

Город — русский Брюгге и российская Камакура.

Яков Карпович просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и читал библию, вслух, наизусть, как всегда, как сорок лет. По утрам к старику приходили его друзья и просители, мужики, ибо Яков Карпович был ходатаем по крестьянским делам. Мужики в те годы недоумевали по поводу нижеследующей, непонятной им, проблематической ди-



леммы, как выражался Яков Карпович. В непонятности проблеммы мужики делились — пятьдесят, примерно, процентов и пятьдесят. Пятьдесят процентов мужиков вставали в три часа утра и ложились спать в одиннадцать вечера, и работали у них все, от мала до велика, не покладая рук; ежели они покупали телку, они десять раз примеривались прежде чем купить; хворостину с дороги они таскили в дом; избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши; продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись; и считались они: врагами революции, ни более, ни менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, — больше ничего не имели; весной им из города от государства давалась семсуда, половину семсуды они поедали, ибо своего хлеба не было, — другую половину рассеивали — колос к колосу, как голос от голосу; осенью у них поэтому ничего не родилось, — они объясняли властям недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец, — государство снимало с них продналог, и семсуду, — и они считались: друзьями революции. Мужики из «врагов» по поводу «друзей» утверждали, что процентов тридцать пять друзей — пьяницы (и тут, конечно, трудно установить, — нищета ли от пьянства, пьянство ли от нищеты), — процентов пять — не везет (авось не только выручает!), — а шестьдесят процентов —

бездельники, говоруны, философы, лентяи, недо-тепы. «Врагов» по деревням всемерно жали, что-бы превратить их в «друзей», а тем-самым лишить их возможности платить продналог, избы их пре-вращая в состояние, подбитое ветром. Яков Кар-кович писал чувствительные и бесполезные грамо-ты. Приходил к Якову Карповичу — враг отечества, — человек, сошедший с ума, Василий Васильевич. Был Василий Васильевич до революции управ-ским — земским — письмоводителем, начитался в увлечении агрономических книг. В 1920-ом году он пошел на землю, дали ему десятину земли, при-шел он на свою десятину с голыми руками и с го-рячим сердцем, сорокалетний человек: в 1923-ем году на Сельскохозяйственной Всероссийской вы-ставке получил он золотую медаль на бумаге и по-хвальные отзывы от наркомзема — за корову и за молоко, и за председательство в молочной артели; по весне 24-го года предложили ему сорок деся-тин земли, дабы построил он показательное хо-зяйство, — двадцать десятин он взял, к 26-ому го-ду у него было семнадцать коров, нанял он тогда рабочего и — пропал: стал кулаком; к 27-ому году у него осталось пять десятин и три коровы, — остальное роздал податями, займами и налогами; по осени 28-го года он от всего отказался, решив вернуться в город в письмоводительское состоя-ние, — не смотря на то, что по осени 28-го — на плотях через Волгу, на проселках, в трактирах и на базарах мужики толковали — о цифрах, о том,

что сдать в кооператив пуд ржи — рубль восемь гривенников, купить в этом-же кооперативе — по ордеру — пуд ржи — три шесть гривен, а на базаре продать пуд — шесть рублей. Василий Васильевич вернулся в город и — сошел с ума, не имея сил вырваться из кулаческого существования. Села да деревни в этих местах не особенно часты, леса, болота.

Яков Карпович потерял время и потерял боязнь жизни. Кроме прошений, никому ненужных, он писал еще прокламации и философские трактаты. До тоски, до тошноты был гнусен Яков Карпович Скудрин.

Город — русский Брюгге и российская Камакура. В этом городе убили царевича Дмитрия, в шестнадцатом веке. Тогда Борис Годунов снял колокол со Спасской кремлевской церкви, тот самый, в который ударил поп Огурец, возвестуя об убийстве: Борис Годунов казнил колокол, вырвал ему ухо и язык, стегал его на площади плетью вместе с другими дратыми горожанами — и сослал в Сибирь, в Тобольск. Ныне колокола над городом умирают.

Яков Карпович Скудрин — жив, у него нет событий.

В 1744-ом году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города

Яранска. Курсин, по наказу Лобрадовского, поехал в Пекин, дабы там узнать у китайцев секрет производства фарфора, порцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине, через русских «учеников прапорщичья ранга» Курсин подкупил за тысячу лан, то-есть за две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства порцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина, и писал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете порцеленого дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село. Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсина, «поступил коварно», как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розог. — Одновременно с этим, 1-го февраля 1744-го года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшемся, как он говорил, и познавшем мастерство в Саксонии на Мейссенской фабрике. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате приехал в Россию, в Санкт-Петербург. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впо-

следствии ставшей императорским фарфоровым заводом, — и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его Виноградовым, — и бесплодно занимался этим до 1748-го года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил русский бергмейстер, ученик Петра, беспутный пропойца и самородок Дмитрий Иванович Виноградов, — и это он построил дело русского порцеленого производства, — таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова: но родоначальниками русского фарфора, все-же, надо считать яранца Андрея Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Христофора Гунгера, кругом Европой обманывавшего. И русский фарфор имел свой золотой век. Мастера — императорского завода, старого Гарднера, «vieux» — Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина — цвели крепостным правом и золотым веком. И, по традиции Дмитрия Виноградова, около фарфорового производства были — любители и чудачки, пропойцы и скряги, — заводствовали светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские — и богородский купец-чудак Никита Храпунов, поротый по указу Александра первого за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коий спрятана была молодая пейзажанка; все мастера крали друг у друга «секреты», Юсупов — у императорского завода, Киселев — у

Попова, Сафронов — подсматривал секрет поздно  
ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера  
и чудаки создавали прекрасные вещи. Русский  
фарфор — есть чудеснейшее искусство, украшаю-  
щее Земной Шар.

Ямское Поле — Волков дом,  
15 января 1929 года.

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

PETROPOLIS-VERLAG A.-G.

Berlin W 15, Joachimsthalerstrasse 12

---

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

Натан Альтман	Зол. мар
Еврейская Графика. Текст Макса Осборна. 250 номерован. экзempl.	25.50
Натан Альтман	
Монография. Текст Б. Арватова . . . . .	21.—
Б. Аронсон	
Марк Шагал. Монография . . . . .	3.—
Б. Аронсон	
Современная Еврейская Графика. 300 номерован. экзemplяров . . . . .	33.60
Igor Grabar	
Die Frescomalerei der Dimitri Kathedrale in Wladimir . . . . .	22.—
Борис Григорьев	
Voui-Voui. Текст С. К. Маковского и М. Осоргина. 300 номеров. экз. . . . .	33.60
в переплете . . . . .	45.—
Евг. Замятин	
О том, как исцелен был отрок Ерава. Рисунки Б. М. Кустодиева . . . . .	4.—
Кольридж	
Кристалль. Пер. Георгия Иванова. Рисунки Д. М. Митрохина . . . . .	4.—
Графика М. В. Добужинского	
Текст С. К. Маковского и Ф. Ф. Нотгафта. 400 номеров. экз. . . . .	42.—
в полуперг. переплете . . . . .	55.—

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

PETROPOLIS-VERLAG A.-G.

Berlin W 15, Joachimsthalerstrasse 12

---

## КНИГИ О ТЕАТРЕ

	Зол мар.
В. Всеволодский-Гернгрос. И. А. Дмитриевской. Очерк из истории русского театра	4.20
Ю. Патуйе. Мольер в России . . . . .	2.—
Федор Лопухов. Пути балетмейстера . .	8.—
<hr/>	
Монту. Книга о радио . . . . .	8.40

## ПАМЯТНИКИ

### МИРОВОГО РЕПЕРТУАРА

Тирсо де Молина. „Дон Хиль Зеленые Штаны“ . . . . .	4.20
Никколо Макнавелли. „Мандрагора“ . .	4.20
Оскар Уайльд. „Вера“ . . . . .	2.—

---

## С Т И Х И

Анна Ахматова. Четки. Белая Стая. Anno Domini . . . . .	2.—
Ранса Блох. Мой город . . . . .	1.—
Н. Гумилев. Колчан. Огненный столп. Французские Народн. Песни. К Синей Звезде по	1.50
М. Кузми. Сети. Глиняные Голубки . по	3.—
Параболы . . . . .	2.—
О. Мандельштам. Tristia . . . . .	1.50
Н. Оцуп. В дыму . . . . .	1.50
Анна Радлова. Богородицын Корабль, пьеса	1.50
С. Рафалович. Терпкие будни . . . . .	1.50



# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

PETROPOLIS-VERLAG A.-G.

Berlin W 15, Joachimsthalerstrasse 12

## П Р О З А

Зол. мар.

ВАС. АНДРЕЕВ. Преступление Аквилонова. Повесть	1.70
М. ЗОЩЕНКО. Веселое приключение. Повесть	1.25
„ЗАВТРА“. Литературно-критический сборник	2.—
Е. ЗАМЯТИН. О том, как исцелен был отрок Еразм	4.—
ВЕРА ИНБЕР. Место под солнцем. Роман	2.50
Б. КАВЕРИН. Ревизор. Повесть	1.25
М. КУЗМИН. Крылья. Повесть	2.—
М. КУЗМИН. Плавающие—путешествующие. Роман	3.50
М. КУЗМИН. Тихий страж. Роман	3.—
АНАТ. МАРИЕНГОФ. Циники. Роман	2.50
НИК. НИКИТИН. Полет. Роман	2.—
НИК. НИКИТИН. Ночной пожар, рассказы	2.—
Б. ПИЛЬНЯК. Штосс в жизнь	1.70
Б. ПИЛЬНЯК. Красное дерево	1.70
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ. Новая скрижаль. Роман	4.20
А. СЫТИН. Пастух племен. Роман	3.80
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. Восемнадцатый год. Романъ	7.35
Ю. ТЫНЯНОВ. Смерть Вазир-Мухтара. Роман в 2 т.	7.35
КОНСТАНТИН ФЕДИН. Братья. Роман	8.40
Л. ФРИДЛАНД. О чем не говорят	4.40
Д. ЧЕТВЕРИКОВ. Бунт инженера Каринского. Роман	2.50
И. ЭРЕНБУРГ. Заговор равных. Роман	2.—

## В ПЕЧАТИ:

М. ЗОЩЕНКО. Семейный купорос

НИК. НИКИТИН. Шпион. Роман

Проф. Р. САМОЙЛОВИЧ. Экспедиция „Красина“

Е. ЗАМЯТИН. Наводнение

- Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1979)**  
**Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978)**  
**Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976)**  
**Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ (1979)**  
**ГЛАГОЛ 1. Литературный альманах (1977)**  
**ГЛАГОЛ 2. Литературный альманах (1978)**  
**Э. Проффер (ред.), НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ (1977)**  
**В. Войнович, ИВАНЬКИАДА (1976)**  
**Л. Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО (1975)**  
**Л. Копелев, И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА (1979)**  
**Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)**  
**Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)**  
**Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО (1978)**  
**А. Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ (1978)**  
**Андрей Платонов, ШАРМАНКА (1975)**  
**Андрей Платонов, КОТЛОВАН (1979)**  
**Сергей Довлатов, НЕВИДИМАЯ КНИГА (1978)**  
**Эдуард Лимонов, РУССКОЕ (1979)**  
**Владимир Уфлянд, ТЕКСТЫ 1955-77 (1978)**  
**Владимир Набоков, ДРУГИЕ БЕРЕГА (1978)**  
**Владимир Набоков, ОТЧАЯНИЕ (1978)**  
**Владимир Набоков, СОГЛЯДАТАЙ (1978)**  
**Владимир Набоков, СТИХИ (1979)**  
**Владимир Набоков, ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ (1979)**  
**Владимир Набоков, КАМЕРА ОБСКУРА (1978)**  
**Владимир Набоков, МАШЕНЬКА (1974)**  
**Владимир Набоков, ПОДВИГ (1974)**  
**Владимир Набоков, ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ (1979)**  
**Владимир Набоков, КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ (1979)**  
**Владимир Набоков, ЗАЩИТА ЛУЖИНА (1979)**  
**Владимир Набоков, ЛОЛИТА (1976)**  
**Владимир Набоков, ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА (1976)**